

**М**

ать с ним попрощалась на околице; дальше Степан Трофимов пошел один. Там, при выходе из деревни, у края проселочной дороги, которая, зачавшись во ржи, уходила отсюда на весь свет, — там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями, влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево «божьим», потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с неба, но дерево, занемогши немного, потом опять оживало и еще гуще прежнего одевалось листьями, и потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей — лишние увядшие листья, а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым.

Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил за пазуху и пошел на войну. Лист был мал и влажен, но на теле человека он отогрелся, прижался и стал неощутимым, и Степан Трофимов вскоре забыл про него.

Отойдя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать еще стояла у ворот и глядела сыну вослед; она просталась с ним в

своем сердце, но ни слез не утирала с лица и не махала рукой, она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, в последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть — маленькая, старая, усохшая, любящая его больше всего на свете; пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет.

«Потерпи немного, — произнес ей сын в своей мысли, — я скоро вернусь, тогда мы не будем расставаться».

Старая мать осталась одна вдалеке — у ворот избы, за рожью, чтобы ждать сына обратно домой и томиться по нем, а сын ушел. Издали он еще раз обернулся, но увидел только рожь, которая клонилась и покорялась под ветром, избы же деревни и маленькая мать скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них.

Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. Два года тому назад он отслужил свой срок в армии и еще не забыл, как нужно стрелять из винтовки. Поэтому он недолго побыл в районном городе и с очередным воинским эшелоном был отправлен воевать с врагом на фронт.

На фронте было пустое поле, истоптанное до последней былинки, и тишина. Трофимов и его соседние товарищи отрыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно, чуть-чуть высунули наружу, ожидая навстречу неприятеля. Позади пустого поля рос мелкий лес, с листвою, опаленной огнем пожара и стрельбы. Там, наверно, таился враг и молча глядел оттуда в сторону Трофимова. У Трофимова стало томиться сердце; он хотел поскорее увидеть своего врага — того тайного человека, который пришел сюда, в эту тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать и пройти дальше, до конца света, чтобы всюду стало пусто и враг остался один на земле.

«Кто это, человек или другое что? — думал Степан Трофимов о своем неприятеле. — Сейчас увижу его!» И красноармеец глядел в серое поле, далекое от его дома, но знакомое, как родное, и похожее на всю землю, где живут и пашут хлеб крестьяне. А теперь эта земля была пуста и безродна, — что жило на ней, то умерло под железом и солдатским сапогом и более не поднялось расти.

«Полежи и отдохни, — говорил пустой земле красноармеец Трофимов, — после войны я сюда по бегу приду, я тебя запомню, и всю тебя сызнаю вспашу, и ты опять рожать начнешь; не скучай, ты не мертвая».

Из темного, горелого мелкоколосья, на той стороне поля, вспыхнул краткий свет выстрела. «Не стерпел, — сказал Трофимов о стрелявшем враге, — лучше бы ты сейчас потерпел стрелять, а то потом терпеть тебе долго придется — помрешь от нас и соскучишься».

Командир еще загодя сказал красноармейцам, чтобы они не стреляли, пока он им не прикажет, и Трофимов лежал молча.

Немцы постреляли еще, но вскоре умолкли, и снова стало тихо, как в мирное время. В поле свечерело. Делать было нечего, и Трофимов заскучал. Он жалел, что время на войне проходит зря, — надо было бы либо убивать врагов, либо работать дома в колхозе, а лежать без дела — это напрасная трата народных харчей. «Вот и ночь скоро, — размышлял Трофимов, — а что толку? Я еще ни одного немца не победил!»

Когда совсем стемнело, командир велел красноармейцам подняться и без выстрела, безмолвно, идти в атаку на врага. Трофимов оживился, повеселел и побежал вперед за командиром. Он понимал, что чем скорее он будет бежать вперед, на врага, тем раньше возвратится назад в деревню, к матери.

В лесу было неудобно бежать и не видно, что делать. Но Трофимов терпеливо сокрушал сапогами слабые деревья и ветки и мчался вперед с яростным сердцем, с винтовкой наперевес.

Чужой штык вдруг показался из-за голых ветвей, и оттуда засветилось бледное незнакомое лицо со странным взглядом, испугавшим Трофимова, потому что это лицо было немного похоже на лицо самого Трофимова и глядело на него с робостью страха. Трофимов с ходу вонзил свой штык вперед, в туловище неприятеля, долгим, затяжным ударом, чтобы враг не очнулся более, и приостановился на месте, давая время своему оружию совершить смерть. Потом он бросился дальше во тьму, чтобы сейчас же встретить другого врага в упор и ударить его штыком насмерть. Командира теперь не было — он, наверно, ушел далеко вперед. Трофимов побежал еще быстрее, желая нагнать командира и не заблудиться одному среди неприятеля. Сбоку, из чащи кустарника, начал бить автомат и перестал. Трофимов повернул в ту сторону, перепрыгнул через пеня и тут же свалился на мягкое тело человека, притаившееся за пнем. Винтовка вырвалась из рук красноармейца, но Трофимову она сейчас не требовалась, потому что он схватил врага вручную; он обнял и молча начал сжимать его тело вокруг груди, чтобы у фашиста сдвинулись кости с места и пресеклось дыхание. Фашист сначала молчал и только старался понемногу дышать, стесняемый красноармейскими руками. «Ишь ты, еще дышит, — сдавливая врага, думал Трофимов. — Врешь, долго не протерпишь — я на гречишной каше вырос и сеяный хлеб всю жизнь ел!»

Слабое тепло шло изо рта врага; замирая, он все еще дышал и старался даже пошевелиться.

— Еще чего! — прикрикнул Трофимов, выдавливая из немца душу наружу. — Кончайся скорее, нам некогда!

Враг неслышно прошептал что-то.

— Ну? — спросил его Трофимов и чуть ослабил свои руки, чтобы выслушать погибающего.

— Русс... Русс, прости!

Трофимов отказал:

— Нельзя, вы вредные.

— Русс, пощади! — прошептал немец.

— Теперь уж не смогу прощать тебя, — ответил Трофимов врагу. — Теперь уж не сумею... У меня мать есть, а ты ее сгонишь с земли.

Он заметил свою винтовку, она лежала близко на земле; он дотянулся рукой до нее, взял к себе и ударил врага кованым прикладом насмерть по голове.

— Не томись, — сказал Трофимов.

Он поднялся и пошел по перелеску, щупая штыком всюду во тьме, где что-нибудь нечаянно шевелилось. Но всюду было безлюдно и тихо. Немцы, должно быть, ушли отсюда, а может быть, они еще тут, но затаились. Трофимов решил пройти по перелеску дальше, чтобы встретить своего командира и узнать у него, что нужно делать дальше, если враг отошел отсюда. Он прислушался. Лишь вдалеке изредка была наша большая пушка, точно вздыхала и опять замирала в своей глубине спящая земля, а помимо пушечных выстрелов все было тихо. Но в другой стороне, откуда пришел Трофимов, за полями и реками, стояла среди ржи одна деревня; туда не доходила стрельба из пушек и тревога войны, — там спала сейчас в покое мать Степана Трофимова и у последней избы росло одинокое божье дерево.

Автомат ударил вблизи Трофимова. «По мне колотит», — решил Трофимов, и сердце его поднялось на врага; он почувствовал скорбь и ожесточение, потому что раз мать родила его для жизни — его убивать не должно и убить никто не может.

Трофимов побежал на врага, бившего в него огнем из тьмы, и остановился. Он остановился в недоумении, узнав впервые от рождения, что он уже не живет. Сердце его точно вышло из груди и унеслось наружу, и грудь его стала охлажденная и пустая. Трофимов удивился, оттого что ему было теперь не больно и пусто жить и стало все равно, ни грустно, ни радостно, но он еще по привычке человека и солдата сказал: «Зря ты, смерть, пришла, ты обожди — я потом помру», — и он упал в траву и откинул винтовку как ненужное оружие: пусть пропадет в траве и не достанется врагу.

Он очнулся вскоре. Сердце его слабо шевелилось в груди. «Ты здесь?» — с простотою радости подумал Трофимов. Он ощущал себя по телу — оно теперь было усохшее и томное; из раны в груди вышло много крови, но теперь рана затянулась и только тепло жизни постоянно выходило из нее и холодела душа.

— Вы у нас, — сказал Степану Трофимову чужой человек.

— Ты немец, что ль? — спросил Трофимов; он увидел, еще тогда, когда тот человек сказал свои слова, он увидел по одежде и нерусскому звуку языка, говорившего по-русски, что он погиб. «А я не погибну! — решил Трофимов. — Я как-нибудь буду!»

— Говорите быстро, что знаете? — опять спросил его немецкий офицер.

«А что же я знаю? — подумал Трофимов. — Да ничего!» И ответил вслух:

— Я знаю, что хоть все мы в дырья насквозь тела будем прострелены, а все одно твоя сила нас не возьмет!

— Значит, вы знаете вашу силу, — произнес офицер. — В чем же она заключается?

— Чувствую так, стало быть — знаю, — проговорил Трофимов; он огляделся в помещении, где находился: на стене висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги. — «И ты здесь со мной! — прошептал Трофимов Пушкину. — Изба-читальня здесь, что ль, была? Потом всему ремонт придется делать!»

— Я спрашиваю, где в ночной атаке находился командный пункт вашей части? — сказал офицер.

— Как где? — удивился Трофимов. — Наш командир впереди меня на фашистов наступал.

— Командир — это вы, — убежденно сказал офицер. — Вы напрасно переоделись в солдата.

— Ага, — промолвил Трофимов, — ну, тогда ты отсталый. Какой же я командир, когда я человек неученый и сам простой?

Немецкий офицер взял со стола револьвер.

— Сейчас вы научитесь.

— Убьешь, что ль? — спросил Трофимов.

— Убью, — подтвердил офицер.

— Убивай, мы привыкли, — сказал Трофимов.

— А жить не хотите? — спросил офицер.

— Отвыкну, — сообщил Трофимов.

Офицер поднялся и ударил пленника рукояткой револьвера в темя на голове.

— Отвыкай! — воскликнул фашист.

«Опять мне смерть, — слабея, подумал Трофимов, — дитя живет при матери, а солдат при смерти», — пришли к нему на память слышанные когда-то слова, и на том он успокоился, потому что сознание его затемнилось.

Вспомнил Трофимов о себе не скоро — в тыловой немецкой тюрьме. Он сидел, скорчившись, весь голый, на каменном полу, он озяб, измучился в беспомощности и медленно начал думать. Сначала он подумал, что он на том свете. «Ишь ты, и там война, и тут худо — тоже не отогреешься», — произнес про себя Трофимов. Но, осмотревшись, Трофимов сообразил, что так плохо нигде не может быть, как здесь, значит, он еще живой.

Он находился в каменном колодце, где свободно можно было только стоять. Вверху, на большой высоте, еще горела маленькая электрическая лампа, испуская серый свет неволи; в узкой железной двери был тюремный глазок, закрытый снаружи. Трофимов поднялся в рост и опробовал себя, насколько он весь цел. На груди запеклась кровь от раны, а пуля, должно быть, утонула где-то в глубине тела, но Трофимов сейчас ее не чувствовал. Лист с божьего дерева родины присох к телу на груди вместе с кровью и так жил с ним заодно.

Трофимов осторожно, не повреждая отделил тот лист от своего тела, обмочил его слюною и прилепил к стене как можно выше, чтобы фашист не заметил здесь его единственного имущества и утешения. Он стал глядеть на этот лист, и ему было легче теперь жить, и он начал немного согреваться.

«Я вытерплю, — говорил себе Трофимов, — мне надо еще пожить, мне охота увидеть мать в нашей избе, и я хочу послушать, как шумят листья на божьем дереве».

Он опустился на пол, закрыл лицо руками и стал тихо плакать — по матери, по родине и по самому себе.

Потом ему стало легче. Он отер свое лицо и захотел представить себе — какой он есть сейчас на вид. Он давно не видел своего лица — ни в зеркале, ни в покойной, чистой воде. «Сейчас я на вид плохой, зачем мне смотреть на себя», — сказал Трофимов.

Он встал и снова загляделся на лист с божьего дерева. Мать этого листика была жива и росла на краю деревни, у начала ржаного поля. Пусть то дерево родины растет вечно и сохранно, а Трофимов и здесь, в плену врага, в каменной щели, будет думать и заботиться о нем. Он решил задушить руками любого врага, который заглянет к нему в камеру, потому что если одним неприятелем будет меньше, то и Красной Армии станет легче.

Трофимов не хотел зря жить и томиться; он любил, чтоб от его жизни был смысл, равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против железной двери в ожидании врага.

1942

## МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ

Недалеко от линии фронта внутри уцелевшего вокзала сладко храпели уснувшие на полу красноармейцы; счастье отдыха было запечатлено на их усталых лицах.

На втором пути тихо шипел котел горячего дежурного паровоза, будто пел однообразный, успокаивающий голос из давно покинутого дома.

Но в одном углу вокзального помещения, где горела керосиновая лампа, люди изредка шептали друг другу успокаивающие слова, а затем и они впади в безмолвие.

Там стояли два майора, похожие один на другого не внешними признаками, но общей добротой морщинистых загорелых лиц; каждый из них держал руку мальчика в своей руке, а ребенок умоляюще смотрел на командиров. Руку одного майора ребенок не отпускал от себя, прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался освободиться. На вид ребенку было лет десять, а одет он был как бывалый боец — в серую шинель, обношенную и прижавшуюся к его телу, в пилотку и в сапоги, пошитые, видно, по мерке на детскую ногу. Его маленькое лицо, худое, обветренное, но не истощенное, приспособленное и уже привычное к жизни, обращено было теперь к одному майору; светлые глаза ребенка ясно обнажали его грусть, словно они были живою поверхностью его сердца; он тосковал, что разлучается с отцом или старшим другом, которым, должно быть, доводился ему майор.

Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая, но мальчик, не отымая своей руки, оставался к нему равнодушным. Первый майор тоже был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе и они снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстанутся на недолгое время. Мальчик верил ему, однако и сама правда не могла утешить его сердца, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль расстояния и время войны, — людям оттуда трудно вернуться друг к другу, поэтому он не хотел разлуки, а сердце его не могло быть в одиночестве, оно боялось, что, оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен оставить его с чужим человеком.

— Ну, Сережа, прощай пока, — сказал тот майор, которого любил ребенок. — Ты особо-то воевать не старайся, подрастешь, тогда будешь. Не лезь на немца и береги себя, чтоб я тебя живым, целым нашел. Ну чего ты, чего ты — держись, солдат!

Сережа заплакал. Майор поднял его к себе на руки и поцеловал лицо несколько раз. Потом майор пошел с ребенком к выходу, и второй майор тоже последовал за ними, поручив мне сторожить оставленные вещи.

Вернулся ребенок на руках другого майора; он чуждо и робко глядел на командира, хотя этот майор уговаривал его нежными словами и привлекал к себе как умел.

Майор, заменивший ушедшего, долго увещевал умолкшего ребенка, но тот, верный одному чувству и одному человеку, оставался отчужденным.

Невдалеке от станции начали бить зенитки. Мальчик вслушался в их гулкие мертвые звуки, и во взоре его появился возбужденный интерес.

— Их разведчик идет! — сказал он тихо, будто самому себе. — Высоко идет, и зенитки его не возьмут, туда надо истребителя послать.

— Пошлют, — сказал майор. — Там у нас смотрят.

Нужный нам поезд ожидался лишь назавтра, и мы все трое пошли на ночлег в общежитие. Там майор покормил ребенка из своего тяжело нагруженного мешка. «Как он мне надоел за войну, этот мешок, — сказал майор, — и как я ему благодарен!» Мальчик уснул после еды, и майор Бахичев рассказал мне про его судьбу.

Сергей Лабков был сыном полковника и военного врача. Отец и мать

его служили в одном полку, поэтому и своего единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии. Сереже шел теперь десятый год; он близко принимал к сердцу войну и дело отца и уже начал понимать по-настоящему, для чего нужна война. И вот однажды он услышал, как отец говорил в блиндаже с одним офицером и заботился о том, что немцы при отходе обязательно взорвут боезапас его полка. Полк до этого вышел из немецкого охвата, ну с поспешностью, конечно, и оставил у немцев свой склад с боезапасом, а теперь полк должен был пойти вперед и вернуть утраченную землю и свое добро на ней, и боезапас тоже, в котором была нужда. «Они уж и провод в наш склад, наверно, подвели — ведают, что отойти придется», — сказал тогда полковник, отец Сережи. Сергей вслушался и сообразил, о чем заботился отец. Мальчику было известно расположение полка до отступления, и вот он, маленький, худой, хитрый, прополз ночью до нашего склада, перерезал взрывной замыкающий провод и оставался там еще целые сутки, сторожа, чтобы немцы не исправили повреждения, а если исправят, то чтобы опять перерезать провод. Потом полковник выбил оттуда немцев, и весь склад целый перешел в его владение.

Вскоре этот мальчуган пробрался подальше в тыл противника; там он узнал по признакам, где командный пункт полка или батальона, обошел поодаль вокруг трех батарей, запомнил все точно — память же ничем не порченная, — а вернувшись домой, показал отцу по карте, как оно есть и где что находится. Отец подумал, отдал сына ординарцу для неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно, сын дал ему верные засечки. Он же маленький, этот Сережка, неприятель его за суслика в траве принимал: пусть, дескать, шевелится. А Сережка, наверно, и травы не шевелил, без вдоха шел.

Ординарца мальчишка тоже обманул, или, так сказать, совратил: раз он повел его куда-то, и вдвоем они убили немца — неизвестно, кто из них, — а позицию нашел Сергей.

Так он и жил в полку при отце с матерью и с бойцами. Мать, видя такого сына, не могла больше терпеть его неудобного положения и решила отправить его в тыл. Но Сергей уже не мог уйти из армии, характер его втянулся в войну. И он говорил тому майору, заместителю отца, Савельеву, который вот ушел, что в тыл он не пойдет, а лучше скроется в плен к немцам, узнает у них все, что надо, и снова вернется в часть к отцу, когда мать по нему соскучится. И он бы сделал, пожалуй, так, потому что у него воинский характер.

А потом случилось горе, и в тыл мальчишку некогда стало отправлять. Отца его, полковника, серьезно ранило, хоть и бой-то, говорят, был слабый, и он умер через два дня в полевом госпитале. Мать тоже захворала, затомилась — она была раньше еще поувечена двумя осколочными ранениями, одно было в полость — и через месяц после мужа тоже скончалась; может, она еще по мужу скучала... Остался Сергей сиротой.

Командование полком принял майор Савельев, он взял к себе мальчишка и стал ему вместо отца и матери, вместо родных — всем человеком. Мальчик ответил ему тоже всем сердцем.

— А я-то не из их части, я из другой. Но Володю Савельева я знаю еще по давности. И вот встретились мы тут с ним в штабе фронта. Володю на курсы усовершенствования посылали, а я по другому делу там находился, а теперь обратно к себе в часть еду. Володя Савельев велел мне побережь мальчишку, пока он обратно не прибудет... Да и когда еще Володя вернется и куда его направят! Ну, это там видно будет...

Майор Бахичев задремал и уснул. Сережа Лабков всхрапывал во сне, как взрослый, поживший человек, и лицо его, отошедши теперь от горести и воспоминаний, стало спокойным и невинно счастливым, являя образ святого детства, откуда увела его война. Я тоже уснул, пользуясь ненужным временем, чтобы оно не проходило зря.

Проснулись мы в сумерки, в самом конце долгого июньского дня.нас теперь было двое на трех кроватях — майор Бахичев и я, а Сережи Лабкова не было. Майор обеспокоился, но потом решил, что мальчик ушел куда-нибудь на малое время. Позже мы прошли с ним на вокзал и посетили военного коменданта, однако маленького солдата никто не заметил в тыловом многолюдстве войны.

Наутро Сережа Лабков тоже не вернулся к нам, и бог весть, куда он ушел, томимый чувством своего детского сердца к покинувшему его человеку — может быть, вослед ему, может быть, обратно в отцовский полк, где были могилы его отца и матери.

## МАТЬ (ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ)

*Из бездны взываю.  
Слова мертвых*

Мать вернулась в свой дом. Она была в бегенстве от немцев, но она нигде не могла жить, кроме родного места, и вернулась домой.

Она два раза прошла промежуточными полями мимо немецких укреплений, потому что фронт здесь был с перерывами, а она шла прямой, ближней дорогой. Она не имела страха и не остерегалась никого, и враги ее не повредили. Она шла по полям, тоскующая, простоволосая, со смутным, точно ослепшим, лицом. И ей было все равно, что сейчас есть на свете и что совершается в нем, и ничто в мире не могло ее ни потревожить, ни обрадовать, потому что горе ее было вечным и печаль неутолимой — мать утратила мертвыми всех своих детей. Она была теперь столь слаба и равнодушна ко всему свету, что шла по дороге подобно усохшей былинке, несомой ветром, и казалось — ее влечет вперед лишь ветер, уныло бредущий по дороге ей вслед. Ей было необходимо увидеть свой дом, где она прожила жизнь, и место, где в битве и казни скончались ее дети.

На своем пути она встречала врагов, но они не тронули эту старую женщину; им было странно видеть столь горестную старуху, они ужаснулись вида человечности на ее лице, и они оставили ее без внимания, чтобы она умерла сама по себе. В жизни бывает этот смутный свет на лицах людей, пугающий зверя и враждебного человека, и таких людей никому не посылно погубить и к ним невозможно приблизиться. Зверь и человек охотнее сражается с подобными себе, но неподобных он оставляет в стороне, боясь испугаться их и быть побежденным неизвестной силой.

Пройдя сквозь войну, старая мать вернулась домой. Но родное место ее теперь было пустым. Маленький бедный дом на одно семейство, обмазанный глиной, выкрашенный желтой краской, с кирпичною печной трубой, похожей на задумавшуюся голову человека, давно погорел от немецкого огня и оставил после себя угли, уже порастающие травой. И все соседние жилые места, весь этот старый город тоже умер, и стало всюду вокруг светло и грустно, и видно далеко окрест по умолкнувшей земле. Еще

пройдет немного времени, и место жизни людей зарастет свободной травой, его задуют ветры, сравняют дождевые потоки, и тогда не останется следа человека, а все мученье его существования на земле некому будет понять и унаследовать в добро и поучение на будущее время, потому что не станет в живых никого. И мать вздохнула от этой последней своей думы и от боли в сердце за беспамятную погибающую жизнь. Но сердце ее было добрым, и от любви к погибшим оно захотело жить за всех умерших, чтобы исполнить их волю, которую они унесли с собой в могилу.

Мать села посреди остывшего пожарища и стала перебирать руками прах своего жилища. Она знала свою долю, знала, что ей пора умирать, но душа ее не смирялась с этой долей, потому что если она умрет, то где сохранится память о ее детях и кто их сбережет в своей любви, когда ее сердце тоже перестанет дышать?

Мать того не знала, и она думала одна. К ней подошла соседка, Евдокия Петровна, молодая женщина, милостивая и полная прежде, а теперь ослабевшая, тихая и равнодушная; двоих малолетних детей ее убило бомбой, когда она уходила с ними из города, а муж пропал без вести на земляных работах, и она вернулась обратно, чтобы схоронить детей и дожить свое время на мертвом месте.

— Здравствуйте, Мария Васильевна, — произнесла Евдокия Петровна.

— Это ты, Дуня, — сказала ей Мария Васильевна. — Садись со мной, давай с тобой разговор разговаривать. Поищи у меня в голове, я давно не мылась.

Дуня с покорностью села рядом; Мария Васильевна положила ей голову на колени, и соседка стала искать у нее в голове. Обоем теперь было легче за этим занятием; одна старательно работала, а другая прильнула к ней и задремала в покое от близости знакомого человека.

— Твои-то все померли? — спросила Мария Васильевна.

— Все! — ответила Дуня. — И твои все?

— Все, никого нету, — сказала Мария Васильевна.

— У нас с тобой поровну никого нету, — произнесла Дуня, удовлетворенная, что ее горе не самое большое на свете: у других людей такое же.

— У меня-то горя побольше твоего будет: я и прежде вдовая жила, — проговорила Мария Васильевна. — А двое-то моих сыночек здесь, у посада, легли. Они в рабочий батальон поступили, когда фашисты из Петропавловки на митрофаньевский тракт вышли... А дочка моя повела меня отсюда куда глаза глядят, она любила меня, она дочь моя была; потом она отошла от меня, она полюбила других, она полюбила всех, она пожалела одного — она была добрая девочка, она наклонилась к нему, он был больной, раненый, он стал как неживой, и ее тоже тогда убили, убили сверху, от аэроплана... А я вернулась. Мне-то что же теперь! Я сама теперь как мертвая...

— А что ж тебе делать-то! Я тоже так живу, — сказала Дуня. — Мои лежат, и твои легли... Я-то знаю, где твои лежат, — они там, куда всех сволокли и схоронили, я тут была, я-то глазами своими видела. Сперва они всех убитых покойников сосчитали, бумагу составили, своих отдельно положили, а наших прочь отволокли подальше. Потом наших всех раздели наголо и в бумагу весь прибыток от вещей записали. Они долго так заботились, а потом уж хоронить таскать начали...

— А могилу-то кто вырыл? — обеспокоилась Мария Васильевна. — Глубоко отрыли-то? Ведь голых, зябких хоронили, глубокая могила была бы теплее!..

— Нет, какое там глубоко! — сообщила Дуня. — Яма от снаряда, вот тебе и могила. Навалили туда до полна, а другим места не хватило. Тогда они танком проехали через могилу, по мертвым, и еще туда положили, кто остался. Им копать желания нету, они силу свою берегут. А сверху забросали чуть-чуть землей, покойники лежат там, стынут теперь; только мертвые и стерпят такую муку — лежать век нагими на холоде...

— А моих-то тоже танком увечили или их сверху цельными положили? — спросила Мария Васильевна.

— Твоих-то? — отозвалась Дуня. — Да я того не углядела... Там, за посадом, у самой дороги, все лежат, пойдешь — увидишь. Я им крест из двух веток связала и поставила, да это ни к чему: крест повалится, хоть ты его железный сделай, а люди забудут мертвых...

Потом, когда уже свечерело, Мария Васильевна поднялась; она была старая женщина, она теперь устала; она попрощалась с Дуней и пошла в сумрак, где лежали ее дети — два сына в ближней земле и дочь в отдалении.

Мария Васильевна вышла к посадку, что прилегал к городу. В посаде жили раньше в деревянных домиках садоводы и огородники; они кормились с угодий, прилегающих к их жилищам, и тем существовали здесь спокон века. Нынче тут ничего уже не осталось, и земля поверху спеклась от огня, а жители либо умерли, либо ушли в скитание, либо их взяли в плен и увели в работу и в смерть.

Из посада уходил в равнину митрофаньевский тракт. По обочине тракта в прежнее время росли ветлы, теперь их война обглодала до самых пней, и скучна была сейчас безлюдная дорога, словно уже близко находился конец света и редко кто доходил сюда.

Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных поперек жалобных, дрожащих ветвей. Мать села у этого креста; под ним лежали ее нагие дети, умерщвленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками.

Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звезды засветились на небе, точно выплакавшись, там открылись удивленные и добрые глаза, неподвижно всматривающиеся в темную землю, столь горестную и влекущую, что из жалости и мучительной привязанности никому нельзя отвести от нее взора.

— Были бы вы живы, — прошептала мать в землю своим мертвым сыновьям, — были бы вы живы, сколько работы поделали, сколько судьбы испытали! А теперь что ж, теперь вы умерли, — где ваша жизнь, какую вы не прожили, кто проживет ее за вас?.. Матвею-то сколько ж было? — двадцать третий шел, а Василию двадцать восьмой. А дочке было восемнадцать, теперь уж девятнадцатый шел бы, вчера она именинница была... Сколько я сердца своего истратила на вас, сколько крови моей ушло, но, значит, мало было, мало было одного сердца моего и крови моей, раз вы умерли, раз я детей своих живыми не удержала и от смерти их не спасла... Они что же, они дети мои, они жить на свет не просились. Я их родила, пускай сами живут. А жить на земле, видно, нельзя еще, тут ничего не готово для детей: готовили только, да не управились!.. Тут жить им нельзя, а больше им негде было, — что ж нам, матерям, делать-то? Одной-то жить небось и не к чему.

Она потрогала могильную землю и прилегла к ней лицом. В земле было тихо, ничего не слышно.

— Спят, — прошептала мать, — никто и не пошевелинется, — умирать было трудно, и они утомились. Пусть спят, я обожду — я не могу жить без детей, я не хочу жить без мертвых...

Мария Васильевна отняла лицо от земли; ей послышалось, что ее позвала дочь Наташа; она позвала ее, не промолвив слова, будто произнесла что-то одним своим слабым вздохом. Мать огляделась вокруг, желая увидеть, откуда взывает к ней дочь, откуда прозвучал ее кроткий голос — из тихого поля, из земной глубины или с высоты неба, с той ясной звезды? Где она сейчас, ее погибшая дочь? — или нет ее больше нигде и матери лишь чудится голос Наташи, который звучит воспоминанием в ее собственном сердце?

Потом мать задремала и уснула на могиле.

Полночная заря войны вошла вдалеке, и гул пушек раздался оттуда, там началась битва. Мария Васильевна проснулась, и посмотрела в сторону огня на небе, и прислушалась к частому дыханию пушек. «Это наши идут, — подумала она. — Пусть скорее приходят».

Мать снова припала к могильной мягкой земле, чтобы ближе быть к своим умолкшим сыновьям. И молчание их было осуждением злодеям, убившим их, и горем для матери, помнящей запах их детского тела и цвет их живых глаз...

К полудню русские танки вышли на митрофаньевскую дорогу и остановились возле посада на осмотр и заправку.

Один красноармеец с танка отошел от машины и пошел походить по земле, над которой сейчас светило мирное солнце.

Возле креста, связанного из двух ветвей, красноармеец увидел старуху, прикинувшую к земле лицом. Он склонился к ней и послушал ее дыхание, а потом повернул тело женщины навзничь и для правильности приложился ухом к ее груди. «Ее сердце ушло», — понял красноармеец и покрыл утихшее лицо покойной чистой холстинкой.

— Спи с миром, — сказал красноармеец на прощанье. — Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой.